



Зулали

1

Если спросить у Зулали, какое нынче время года, она отвечает, ничуть не сомневаясь: «Весна».

Мамида ворчит, что Зулали потому и такая, что у нее всегда весна.

— Другие уже облетают листьями, а наша Зулали еще даже подснежников не набрала, — цокает она языком.

У Мамиды широкая мужская спина и такие руки, что иной раз остерегаешься подойти — а вдруг она тебя нечаянно ими заденет. Костей ведь тогда не соберешь. Мамида ступает медленно, вразвалочку, вперив правый кулак в бок, левая рука качается, слов-

но маятник, юбка топорщится оборками на большом животе, Мамида отчего-то решила, что чем больше на одежде складок, тем меньше видно полноты. Полнота у нее такая, что порой удивляешься, как у нее получается так ловко при своих размерах двигаться.

Мамиде столько лет, что не сосчитать. Она громкая и хлопотливая, а еще — терпеливая, хотя вывести ее из себя раз плюнуть. А еще она очень не любит, когда ее отрывают от теста. «Тесто — это все!» — приговаривает Мамида, разминая огромный, размером с колесо телеги ком своими большими руками. «Это все» в ее понимании означает действительно все, начиная с «не отвлекаяй, если не хочешь схлопотать на свою голову проблем», и заканчивая «ничего важнее этого в мире нет».

Зулали сидит на краешке стула, выпрямив спину, мнет крохотный кусочек теста на самом углу стола. У Зулали высокий лоб, длинный узкий нос и тонкие губы. Она похожа на Анну Бретонскую, портрет которой стоит на комодe в комнате деда. Если сделать ей пробор посередке, а волосы спрятать под накидку, получится вылитая Анна Бретонская. У Зулали такое красивое лицо, что можно смотреть бесконечно. Жаль, что эта красота исчезает ровно в тот миг, когда она открывает рот. Говорит она плохо, неряшливо, закатывая глаза и дергаясь лицом, к тому же не произносит большую часть звуков, потому приходится сильно напрягаться, чтобы понять, что она хочет до тебя донести. По большому счету, кроме десятка звуков, Зулали не может сказать ничего. Потому «хорошо» в ее исполнении звучит как «оошо», а весна — «ена».

— Лучше бы ты онемела, зато соображала, — иногда заявляет Мамида. Она всегда очень искренна в своих пожеланиях, потому если говорит, что лучше бы Зулали онемела, то так и думает.

Зулали замирает с открытым ртом.

— Закрой рот, а то муха залетит! — Мамида щедро припорошивает деревянное корыто мукой, перекладывает туда тесто, накрывает чистым льняным полотенцем.

Зулали мелко смеется, прикрыв рот ладонью. Мамида смотрит на нее так, словно прикидывает в уме — стоит в очередной раз напоминать о том, что смеяться, мелко трясясь, как овца на ветру, женщине ее возраста не пристало. Потом она вздыхает и, так ничего и не сказав, уходит мыть руки. Выцветшие половицы жалобно скрипят под ее тяжелыми шагами, туфли она носит большие, мужские, женской обуви на ее ногу не достать. Одно время ей шили на заказ в обувной мастерской, но потом она рассорилась с сапожником вдрызг и никогда больше не переступала порог его дома.

— Посмотрим, где ты будешь обувь покупать! — кричал он ей вслед, потирая ушибленное плечо — это Мамида, выходя, подвинула его так, что сапожник впился головой и плечом в стену. Голове ничего, а плечо потом долго болело.

С того дня Мамида носит мужскую обувь; женскую, сшитую в мастерской, она в тот же день отправила со мной обратно. Вымыла, аккуратно обсушила, натерла топленным гусиным жиром, завернула каждую туфлю в обрывок вощеной бумаги, уложила рядками в сумку. Сверху водрузила бутылку виноградного уксуса. Велела отнести и оставить на пороге обувной.

— А укус зачем? — любопытствовал я.

— Чтоб выпил и сдох!

Судя по тому, что сапожник до сих пор здоровствует, укус он пить не стал. Куда туфли Мамиды девал — не знаю. Я поздоровался, оставил сумку на пороге мастерской и ушел. Страшно подмывало спросить, из-за чего они поссорились, аж до чесотки в лопатках подмывало, но я не стал — Мамида бы в жизни меня не простила, если бы узнала, что я заговорил с сапожником.

Дождавшись, когда она выйдет из комнаты, Зулали поднимает край льняного полотенца, кладет на тесто комочек своего, который долго мяла в руках. Ее тесто цветом темнее, чем то, которое месила Мамида.

— Ты снова плохо вымыла руки! — закатываю глаза я.

Зулали смеется. На подбородке у нее крошки засохшего теста. Я вытаскиваю из кармана дедов платок, протираю ей лицо. Убираю платок обратно, предварительно тщательно отряхнув и сложив в несколько раз.

— Пойдем, я помогу тебе вымыть руки, — говорю я.

Зулали поднимается со стула, она молчит, потому лицо у нее снова такое красивое, что хочется смотреть и смотреть — большие глаза, тонкий длинный нос, высокий лоб. Волосы у Зулали темные, но на солнце переливаются рыжиной. За эту рыжину я ее особенно люблю, у деда была ровно такая же рыжина — в бороде и даже в бровях, а волосы у него были седые и густые, можно было пальцами запутаться. Волосы деда пахли старостью и табаком.

Мамида как раз закончила мыть руки и залила в рукомойник новую порцию воды. С того дня, как деда не стало, с водопроводом что-то неладно, он то действует, то нет. Мастер, которого мы вызвали, проверил все и развел руками — не могу понять, что тут не так, вроде поломки нет, засора тоже.

Мамида выставила его из дому и вызвала другого мастера, которого тоже потом выставила за порог. Больше она никого не вызывала, сходила к соседке и выпросила старый рукомойник, который без дела пылился на чердаке. Мы хорошенько натерли его речным песком и золой, и он стал почти как новый. Потом мы с Мамидой долго ходили по двору, выбирая место, куда можно его повесить. В итоге прибили к подпорке веранды, на такой высоте, чтобы мне можно было мыть руки, не вставая на цыпочки, иначе вода потечет по локтям прямо в подмышки. Рукомойник очень красивый — большой, медный, с ходящим вверх-вниз стержнем и съёмной крышкой, куда нужно заливать воду — ровно два с половиной кувшина.

Мамида отошла в сторону, полюбовалась, как бликует солнечный луч на выпуклом боку рукомойника.

— Сияет, как у слона яйца, — удовлетворенно сказала она.

Я захихикал. Мамида шутит так, что живот можно от смеха надорвать. Дед в ней больше всего это и любил. Так и говорил — если бы не твои шутки, я б давно тебя из дому выгнал. Мамида фыркала: «Ты-то!» — и смотрела на него так, будто дед — это кошка, а она — мухобойка. «А что? — хорохорился дед, он всегда хорохорился, когда препирался с Мамидой. — А что? Или не я в этом доме хозяин?»

Мамида молча складывала большие руки на своей большой груди. Смотрела исподлобья. Шумно вздыхала.

— Ну чего ты? — беспокоился дед. — Я же пошутил.

Мамида еще раз шумно вздыхала:

— Что бы вы без меня делали!

Дед лез в карман — за трубкой.

— Что бы мы без тебя делали! — приговаривал, набивая трубку табаком. — Что-бы-мы-без-тебя-делали!

— То-то, — хмыкала Мамида.

После похорон деда она три дня ни с кем не разговаривала и ничего по дому не делала. Лежала в его постели как была, в траурном платье и платке, накрывшись одеялом по подбородок, и смотрела в потолок. В углу комнаты стояли ее истоптанные туфли — съехавшие набок пятки, сбившиеся стельки. Сквозь глухо задвинутые шторы пробивался одинокий солнечный луч, он медленно полз по комнате, спотыкаясь то о край домотканого паласа, то о забытые на тумбочке четки с обломанным крестиком, то о неоконченный толстенный том — дед всегда любил читать. До Маமிды солнечный луч не добирался, шарил по краю тахты и, скользнув по простыне, угасал, словно его и не было. Мы с Зулали много раз на дню навевались к ней — приносили поесть и попить, сидели рядом, я плакал, Зулали улыбалась, Мамида молчала. К еде она так и не притронулась, поднялась только на четвертый день и вернулась к домашним делам.

Поскольку вода у нас теперь с перебоями, Мамида набирает ее про запас, одну часть оставляет для питья

и готовки, другую — для хозяйственных нужд. Я отвечаю за поливку огорода, а потому каждый вечер убираю крышки стоящих под водостоками дождевых бочек на случай, если пойдет дождь, а утром накрываю бочки обратно, чтобы солнце не выпарило воду. Остальную работу по дому проделывает Мамида — готовит, убирает, стирает-гладит, печет хлеб. Зулали мало чего умеет делать, по правде говоря — ничего не умеет, потому просто ходит за Мамидой и повторяет за ней: возьмет Мамида полено, чтобы печь растопить, она берет второе, подметает Мамида двор — Зулали рядом бестолково размахивает метлой. Чаще всего Мамида молча сносит ее попытки быть полезной по хозяйству, но иногда, когда дел много, а рук на все не хватает, она раздражается. В такие дни я увожу Зулали туда, куда Мамида никогда не заглядывает, — в комнату деда.

Со дня его смерти там мало чего изменилось, если только пыли поприбавилось, а углы потолка затянулись паутиной. Мы с Зулали иногда неумело убираемся — то подметем, то пол протрем. Форточка приоткрыта, потому в грозу комнату заливают дождем. Я пытался ее захлопнуть, но у меня ничего не вышло — створка накрепко заложена дощечкой. Когда дождевая вода высыхает, на подоконнике остаются грязные разводы. Я протираю их мокрой тряпкой, но грозы в последнее время случаются чуть ли не каждый день, так что подоконник дедовой комнаты почти всегда в темных пятнах. Четки со сломанным крестиком так и лежат на тумбочке, на спинке стула висит его пиджак, из недочитанной книги торчит закладка — белое гусиное перо. Я бы, наверное, прочитал

эту книгу, если бы умел. Но дед умер, и теперь некому учить меня грамоте. У Мамиды прохудились глаза, почти не различают буквы, даже через лупу, потому она старается лишней раз их не напрягать. А Зулали читать не умеет. То есть когда-то она все умела — и читать, и писать, и вообще очень умной была. Но потом с ней что-то случилось, и она стала такой, какая сейчас. Иногда она болеет кровью, оставляет за собой на полу капельки. Или сядет, потом встанет — а на платье сзади пятно. Думаю, кровь у нее течет оттуда, откуда она писает (больше-то вроде неоткуда!). Мамида, заметив капли крови, ахает, уводит Зулали в ее комнату, помогает переодеться, бухтит, что ей надо сто раз одно и то же объяснять. Однажды я спросил у Мамиды, что это такое с Зулали. Она с минуту придирчиво разглядывала меня, словно прикидывала, можно ли мне доверять, потом вздохнула. Ты уже большой, говорит, потому тебе можно рассказать: у Зулали недомогание, которое со всеми женщинами случается. «Это болезнь?» — «Нет, ну что ты!» — «Она от этого умрет?» «Не умрет. Скоро эти недомогания кончатся навсегда». — «Почему кончатся?» — «Возраст». «У тебя они тоже были?» — «Были. А потом перестали». Мне хотелось еще спросить, почему только женщины болеют кровью, но Мамида месила тесто, а тесто для нее все, потому я не стал ее отвлекать. В другой раз спрошу.

Напротив кровати деда, на комод, стоит портрет в рамке. Если заглянуть на его обратную сторону, можно увидеть надпись, выведенную аккуратными завитушками: «Анна Бретонская принимает от Антуана Дюфура рукопись „О знаменитых женщинах“ (ок. 1508)». «Ок.

1508» означает, что портрет (был бы жив дед, поправил бы, что это миниатюра, но мне проще говорить портрет) нарисован (дед бы поправил — написан) в 1508 году. И даже не совсем в тот год, а несколькими годами раньше или позже. Потому и «ок.», то есть «около». Мне так понравился этот «ок. 1508», что однажды я исписал им окна. Мамида тогда ругалась будь здоров, она как раз провела предрождественскую уборку, дома было так чисто, что хотелось каждую минуту мыть руки, лишь бы ненароком не испачкать чего-нибудь. Ночью ударил мороз, и окна холодной кладовой, где хранятся всякие припасы и заготовки, покрылись кружавчиками инея. Если поскрести ногтем — он легко соскребался, оставляя прозрачную борозду. Вот я и исписал окна кладовой, докуда дотянулся, «ок. 1508». А потом иней растаял, и на стеклах остались пятна. Мамида сначала отругала меня, потом, громогласно жалуясь на судьбу, принялась протирать испачканные окна раствором нашатыря. Дед тогда увел меня в свою комнату, усадил за стол, положил передо мной лист бумаги, чернильницу, остро наточил перо.

— Пиши тут.

Писать мне больше не хотелось, потому я нарисовал Зулали, Мамиду, деда и себя. Чуть подумав, вывел в углу «ок. 1508». Перо скрипело и брызгало чернилами, потому клякс на рисунке было столько, что и не разберешь, что там нарисовано. Но деду очень понравилось. Он дал чернилам подсохнуть и пошел хвастать моим творением перед Зулали и Мамидой. Зулали повертела рисунок в руках и вернула деду, а Мамида почему-то растрогалась.

— Этот бегемот — я? — спросила она, тыча локтем (руки были в мыльной пене) в свой портрет. И пустила слезу. Покончив со стиркой, она выпросила у деда рисунок и повесила над изголовьем своей кровати, слева от распятия. Справа от распятия покачивались ее четки с еще целым крестиком.

Когда мы с Зулали проводим время в комнате деда, я подвожу ее к портрету Анны Бретонской.

— Ты помнишь, что вы с ней похожи? — допытываюсь я.

Зулали переводит взгляд с портрета на меня, не понимая, чего я от нее хочу.

— Неужели ты не видишь, что вы похожи? — настаиваю я.

Зулали улыбается. Она всегда улыбается, когда не понимает, чего от нее хотят или что происходит. Потом она нерешительно дотрагивается до моей макушки.

— А-а-ос.

— Да. Только не Ааос, а Назарос. Скажи Н-а-з-а-р-о-с. Ну хотя бы попробуй. Скажи «Н».

Зулали улыбается.

— Ладно, — вздыхаю я.

Она продолжает улыбаться уголками губ. Смотрит не мигая, напряженно.

— Какое сейчас время года, Зулали? — уступаю я.

— Е-на, — оживает она.

— Весна, да.

На дворе конец августа.

Пока я водил Зулали мыть руки, Мамида успела прополоть половину огорода. Сорняк в этом году растет с таким нахрапом, словно так и должно быть.

За жаркий июль выгорела почти вся зелень, только соцветия лука торчали нелепыми большеголовыми одуванчиками, но в августе вернулись грозы, тоже непонятно с какой стати, и огород снова зазеленел. Мамида на радостях удобрила его сверх меры навозом и теперь два раза в неделю, чертыхаясь, пропалывает грядки. Поработает немного, потом с кряхтением выпрямляет спину, стоит, подбоченившись, унимает головокружение. По лицу струятся слезы — в последнее время у нее от работы в огороде плачут глаза. Она раздражается, вытирает лицо тыльной стороной ладони или вообще подолом своей оборчатой юбки, по вечерам делает специальные успокаивающие примочки, но толку ноль.

— Стара я стала, — приговаривает, лежа со смоченным в мятном настое платком на лице.

Я не спрашиваю, сколько Мамиде лет, не хочу узнавать. Вдруг девяносто девять, и жить ей осталось всего год. В нашем ущелье люди живут ровно сто лет и ни днем дольше. Так мне дед сказал. Как только он научил меня считать, я первым делом прикинул, сколько нам осталось жить. Провозился до ряби в глазах, но справился. Получалось, что мне осталось девяносто два года, Зулали — пятьдесят три, деду — тридцать один. Я очень расстроился, когда сообразил, что жить ему уже не так много. Но деда мои переживания позабавили. «Ну что ты, — рассмеялся он, — тридцать один — это, конечно, не девяносто два, но тоже сойдет». «Что я без тебя буду делать?» — спросил я. «Как что? Жить, работать, воспитывать детей, любить жену». «Мне ничего этого не надо, лишь бы ты был ря-